

*Богги
стального
района*

Сергей Патрушев

Сергей Патрушев

Боги спального района

«Автор»

2026

Патрушев С.

Боги спального района / С. Патрушев — «Автор», 2026

Жаркий полдень. Паша седьмой день лежит на диване в депрессии. Лиза в кустах сирени читает заклинание на латыни, пытаясь оживить пушинку одуванчика. Глеб в семейных трусах посреди песочницы орёт, что он Игнис Первый и повелевает фотонами. Виктор Петрович, отставной военный, невозмутимо помешивает чай с чабрецом. Они не знакомы. Они живут в одном районе и не подозревают, что через минуту всё изменится. Ракета с экспериментальным психотропным реагентом попадает в ТЭЦ. Взрыв не убивает — он погружает район в коллективную кому. Четыре сознания создают «Волну Вероятностей», превратив свои страхи и желания в реальность. Паша стал бесплотным призраком. Лиза — заклинательницей мутировавшего леса. Глеб — огненным элементом, который не может ничего поджечь. Виктор Петрович — единственным хранителем нормальной физики. Квартал превратился в изолированную сферу. Чтобы проснуться и вернуться в реальный мир, им придётся объединиться. Но для этого нужно пожертвовать тем, кем они стали.

© Патрушев С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Банка в полете	5
Глава 2. Заклинательница одуванчиков	13
Глава 3. Властелин окурка	17
Глава 4. Мгновение «Омега»	20
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Сергей Патрушев

Боги спального района

Глава 1. Банка в полете

Жара стояла такая, что само понятие времени, казалось, расплавилось и потекло по раскаленным стенам панельной девятиэтажки густой, тягучей патокой. Июльский полдень в этом спальном районе был не просто временем суток — это было стихийное бедствие. Солнце висело в белесом от смога небе, как огромный раскаленный пятак, и, казалось, намертво застряло в зените, не желая двигаться к спасительному вечеру. Воздух, тяжелый и плотный, был пропитан запахом плавящегося асфальта, горячей пыли и того особенного, сладковато-гнилостного аромата, который источают переполненные мусорные баки на заднем дворе. Окна во всем доме были распахнуты в тщетной, отчаянной попытке создать хоть какой-то намек на сквозняк, но вместо ветра в квартиры вливалась лишь вязкая, почти осязаемая субстанция, в которой смешались выхлопные газы с соседнего проспекта, сигаретный дым многочисленных балконных курильщиков и далекая гарь от лесных пожаров, что уже вторую неделю полыхали где-то за городом. Лето вступало в свою самую беспощадную фазу, и город плавился, словно брошенная на солнце шоколадка.

Паша лежал на диване. Лежал он на нем седьмой день подряд, и за это время между его телом и продавленными пружинами старого ложа установилась почти мистическая связь. Этот диван, помнивший еще времена Советского Союза и обитый тканью с выцветшим узором, отдаленно напоминавшим то ли психоделические грибы, то ли лишайники на коре древнего дерева, принял форму его тела с покорностью старого слуги. Каждый изгиб позвоночника, каждая впадина, каждый выступ ключицы и тазобедренного сустава были зафиксированы продавленным поролоном, словно гипсовым слепком. За семь дней их симбиоз достиг такого совершенства, что теперь, когда Паша делал редкие и вынужденные движения, чтобы, скажем, перевернуться на другой бок или дотянуться до очередной банки, диван издавал возмущенный скрип, словно негодуя на то, что его покой нарушен. В комнате царил особый, кладбищенский полумрак. Задерживать шторы требовало усилий, на которые он был не способен, а те занавески, что висели на карнизе уже лет пять без стирки, были задернуты лишь наполовину. В результате пространство было расчерчено полосами мутного, дрожащего от жары света и глубокой, пыльной тени.

В этом желтоватом мареве, словно души невинно убитых пылесосом микроорганизмов, неспешно и величаво кружились пылинки. Они танцевали свой медленный, грациозный танец в потоках воздуха, поднимаемых его редким дыханием, и Паша следил за ними мутным, остекленевшим взглядом. Семь дней — срок достаточный, чтобы привыкнуть к чему угодно. Он привык к воні собственного немытого тела, к липкой пленке пота, покрывавшей лоб и грудь, к саднящему ощущению во рту, к постоянному звону в ушах и к этому сюрреалистическому балету пыли. Его темно-русые волосы, когда-то довольно густые и даже красивые, теперь свалились в неопрятные колтуны, напоминавшие войлок, и торчали в разные стороны, как иглы дикобраза, пребывающего в глубокой печали. Лицо, некогда бывшее довольно приятным и даже привлекательным (во всяком случае, так говорила Аня), теперь приобрело тот специфический серо-зеленый оттенок, который бывает у людей, слишком близко и надолго познакоившихся с дном дешевой пивной бутылки и слишком далеко ушедших от таких базовых понятий,

как свежий воздух, гигиена и здоровый сон. Щетина, которую он не брил, была неровной и клочковатой, придавая ему вид человека, объявленного в розыск и живущего на нелегальном положении в собственной берлоге. Одеждой ему служила растянутая, до безобразия грязная футболка с полинявшим логотипом рок-группы, название которой он уже и сам с трудом мог вспомнить, и семейные трусы в неопределимую, блеклую клетку. В комнате стоял тяжелый, застоявшийся дух. Это был сложный, многослойный аромат, в котором опытный нос мог бы различить ноты застарелого пота, прокисшего пивного сусла, остывших окурков, в изобилии торчащих из стеклянной литровой банки-пепельницы, и того неуловимого, кисловатого запаха, который издает грязное постельное белье, слишком долго не знавшее стирки.

Причина этой гуманитарной и личностной катастрофы была банальна, жестока и, в своей банальности, абсолютно невыносима. Девушка. Аня. Она ушла неделю назад, аккуратно сложив свои вещи в розовый, в мелкий горошек, чемоданчик, который когда-то они вместе покупали на распродаже для поездки в Анапу. Упаковала свои бесчисленные баночки с кремами, свои книги по психологии, свои джинсы и платья. Собрала даже свою кошку, персидскую заносчивую тварь по кличке Маркиза, которую Паша тайно ненавидел за то, что та спала на его подушке и оставляла шерсть везде, включая его зубную щетку. Взяв кошку под мышку и окинув прощальным взглядом их общее жилище, превратившееся за два года из берлоги законченного холостяка в подобие уютного гнездышка, она вздохнула, положила на кухонный стол ключи и трогательную, до зубовного скрежета фальшивую записку, написанную аккуратным, круглым почерком на листке в клеточку. «Паша, прости. Ты хороший, но мы слишком разные. Мне нужно время, чтобы найти себя. Не ищи меня». Последняя фраза прозвучала для него как приговор. «Ты хороший, но...» — это «но» звенело в его голове похоронным колоколом все семь дней. Он не просто потерял девушку — он потерял ориентир, привычный уклад жизни, да и саму жизнь, которая без Ани вдруг оказалась пустой, гулкой и бессмысленной оболочкой.

Жажда мучила его нестерпимо. Это была не та обычная жажда, которую можно утолить стаканом воды из-под крана. Это была глубинная, всепоглощающая жажда иссохшего организма, обезвоженного алкоголем, слезами и жарой. Язык, шершавый и распухший, как чужая плоть, с трудом ворочался во рту, царапая пересохшее небо. Губы потрескались и спеклись в тонкую, болезненную корку. Паша скосил глаза на поле битвы, в которое за эти семь дней превратилась его однокомнатная квартира. Это была картина великого пивного побоища. Повсюду, как пустые гильзы после артиллерийской канонады, валялись алюминиевые банки. Они громоздились на подоконнике, образовывали сиротливые геометрические фигуры на журнальном столике, стояли в ряд, как солдаты перед расстрелом, на телевизоре. Несколько штук лежали на боку под столом, и из одной, опрокинутой уже бог знает когда, на грязный линолеум натекла маленькая липкая лужица, привлекавшая мух. Еще одна небольшая баррикада выросла у двери в туалет, отмечая его ночные траектории. Каждая из этих банок была не просто емкостью — это был маленький алюминиевый гвоздь, забитый в крышку его трезвости, его карьеры, его отношений, его нормального человеческого будущего. Но сейчас, в это конкретное мгновение, его интересовала только одна, самая важная банка из всех.

Последняя. Он точно, с какой-то обостренной алкогольной ясностью помнил, что вчера, вернее, уже сегодня ранним утром, когда серый рассвет заливал комнату мертвенным светом, он, проваливаясь в тяжелый, липкий сон без сновидений и надежды, поставил ее на пол, у самого изголовья дивана. Ритуальный, последний глоток на утро, который либо добьет его, либо воскресит к вечеру для продолжения агонии. Он помнил, как его дрожащие пальцы опускали ее на грязный пол рядом с горой пустых собратьев. Он помнил, как хотел открыть ее немедленно, но волна тошноты и черного отчаяния накрыла его раньше. И теперь она стояла

там — его последний шанс, его «капсула времени», вобравшая в себя холод, газ и иллюзию облегчения.

Повернуть голову было подвигом. Голова казалась налитой свинцом, а шея затекла так, что малейшее движение отдавалось тупой, пульсирующей болью в основании черепа. Совершить полный оборот тела, чтобы задействовать обе руки, — это требовало титанического усилия воли, которым он сейчас не располагал. Он решил действовать одной рукой, наугад. Паша с трудом свесил голову с края дивана, так что подбородок уперся в шершавый, собирающий пыль веками, край обивки. Мир на мгновение перевернулся и поплыл перед глазами, комната качнулась, как палуба корабля в шторм, к горлу подкатила тошнота. Но он слотнул, сфокусировал взгляд и увидел ее. Да. Вот она, родимая. Последняя, нетронутая банка дешевого светлого пива, одинокий и гордый солдат на поле проигранной битвы. На ее алюминиевом, чуть помятом боку, словно слезы, выступили крупные капли ледяного конденсата. Святая вода. Серебристый цилиндр обещал божественную, ломящую зубы прохладу, шипение газа, горьковатый вкус и временное, пусть и иллюзорное, но такое желанное избавление от мук совести, жажды и непрекращающейся головной боли.

Он протянул руку. Это было медленное, неуверенное движение. Мышцы плеча, предплечья и кисти, атрофировавшиеся за неделю абсолютного безделья и хронического обезвоживания, дрожали от напряжения. Некогда вполне развитая мускулатура (все-таки он когда-то мог подтянуться раз десять), теперь напоминала желе. Пальцы, которые еще две недели назад ловко перебирали гитарные струны, наигрывая «Nothing Else Matters» для Ани, пока она пила свой травяной чай и улыбалась ему, теперь напоминали пять бледных, плохо гнущихся сарделек и решительно отказывались слушаться команд мозга. Мозг кричал: «Сожми! Сожми крепче!», но сигнал доходил с опозданием и в сильно искаженном виде. Он почти дотянулся. Кончики дрожащих пальцев уже коснулись вожаемого холодного металла, по которому, дразня, скользнула ледяная капля воды, обжигая разгоряченную кожу. Еще сантиметр. Еще одно микроскопическое усилие. Еще мгновение — и он бы ухватил ее, подтащил к себе, сквырнул бы клапан и присосался бы к отверстию, как младенец к материнской груди.

Но именно в этот критический момент, когда все, казалось, висит на волоске, вселенная, которая, судя по всему, имела на Пашу свои, особые виды, решила вмешаться. Предательская слабость, порожденная голодом, жарой и отравлением, словно электрический разряд, пронзила запястье. Рука дернулась в произвольном, хаотическом спазме, как лапка дохлого таракана. Вместо того чтобы сжать банку в стальном и надежном захвате, Паша лишь неуклюже, кончиками пальцев, поддел ее за край доньшка, придав ей вращательное движение. Он хотел подцепить, а получился щелчок.

То, что произошло дальше, в его заторможенном, депрессивно-похмельном восприятии растянулось в целую вечность, замедленную до скорости смены геологических эпох. Законы физики, великие и неумолимые, решили поиздеваться над ним с изощренной жестокостью, разыграв на арене его грязной комнаты целый драматический спектакль. Банка, получив импульс от его неловкого касания, оторвалась от пола и начала свое триумфальное, нелепое и, как выяснится через секунду, фатальное пике. Она взмыла вверх по крутой, дугообразной траектории, словно баллистическая ракета, запущенная неопытным оператором с кривой стартовой площадки. Сначала она клюнула доньшком в спертый, душный воздух, на мгновение зависнув в нижней точке траектории, а потом, набирая высоту, начала медленно, величественно переворачиваться, кувыряясь в полете, словно акробат под куполом цирка.

Именно в этот момент, когда банка совершала свой первый кувырок, переходя вверх дном, Паша увидел то, отчего его сердце пропустило удар. Клапан-лейка, эта маленькая алюминиевая заслонка на крышке, которую он, по-видимому, вчера не докрутил до конца или случайно задел при падении, был слегка приоткрыт. Сквозь эту микроскопическую щель, под давлением скопившегося внутри углекислого газа и освобожденной от оков жидкости, начала вырываться наружу пенная струя.

Время в его голове замедлилось до полной остановки. Паша видел все, как в кино с невероятной скоростью съемки. Банка, совершая свой последний, судьбоносный полет, медленно, даже торжественно, вращалась вокруг своей оси. Белая, густая, как взбитые сливки, пивная пена вырывалась из отверстия не сплошным потоком, а пульсирующими толчками, словно кровь из раны, оставляя в душном воздухе комнаты причудливый, объемный пенистый след. Этот след тянулся за банкой прихотливой лентой, описывая в пространстве замысловатую, идеально просчитанную, с точки зрения физики жидкостей и газов, параболу. Мириады мельчайших капель жидкости срывались с основного пенного потока, разлетаясь в стороны сверкающим янтарным фейерверком. В лучах пробивающегося сквозь грязные стекла солнца каждая из этих капель на долю секунды вспыхивала, как маленькая золотая звезда, создавая вокруг летящей банки настоящий нимб.

Траектория полета была рассчитана с космической, почти божественной жестокостью. Дуга привела вращающуюся банку точно к высшей точке своей траектории, ее апофею — прямо над головой Паши, которая все еще бессильно свешивалась с дивана, представляя собой идеальную мишень. В этот критический, кульминационный момент, когда кинетическая энергия, сообщенная его неуклюжим пальцем, иссякла, а сила гравитации еще не начала разгонять банку обратно к полу, она на долю секунды замерла в зените. И в это самое мгновение, подчиняясь вращению, отверстие в крышке оказалось направлено строго вниз, в зенит его немойтой, всклокоченной головы. Идеальное совпадение векторов. Абсолютный ноль.

Содержимое банки, разогнанное внутренним давлением и обрадованное внезапно открывшейся свободой, рвануло наружу. Это был не просто пенный поток. Это был взрыв. Холодная, обжигающая, липкая жидкость с шипением обрушилась на его макушку, словно миниатюрный Ниагарский водопад, сорвавшийся с высоты пятнадцати сантиметров. Первое, что почувствовал Паша, — это ледяной шок, пронзивший раскаленный череп. Он зажмурился, инстинктивно втянув голову в плечи, и издал горлом неопределенный звук, средний между хрипом утопающего и всхлипом побитой собаки. Пиво текло повсюду. Оно прокладывало себе извилистые дороги по сальным, грязным прядям волос, струилось по лбу, разветвляясь на множество ручейков, словно речная дельта, затекало в уши, вызывая ощущение закупорки и глухоты, просачивалось в глаза, смешиваясь с тем, что скопилось на ресницах за неделю без умывания. Густая белая пена покрывала его голову, как шапка, шипела и пузырилась в волосах, стекала по носу и капала с его кончика, заливала лицо, попадала в рот, оставляя на губах горький привкус и чувство абсолютного, вселенского унижения. Запах пива, резкий и кислотаватый, мгновенно пропитал воздух вокруг него, смешавшись с уже имеющимися ароматами, и создал финальный аккорд в симфонии запустения.

Но это было еще не все. Акт драмы имел свой эпилог. Совершив свое главное преступление, опорожнившись от большей части жидкости, пустая алюминиевая оболочка, потерявшая значительную часть веса, слегка изменила курс и аэродинамику. Лишенная жидкого балласта, она стала легче, еще более неуправляемой и подверженной малейшим колебаниям воздуха. Кувыркнувшись в воздухе в последний раз, словно отработанная ступень ракеты, она завер-

шила свою баллистическую дугу и с глухим, звонким, оскорбительным «бдыщ!» приземлилась точно ему на переносицу. Звук был такой, будто кто-то щелкнул его по носу огромным пальцем, а перед глазами вспыхнули искры. Это был нокаутирующий удар. Апофеоз нелепости. Финальная, контрольная пощечина от равнодушной вселенной. Банка, чуть помявшись при ударе о его нос, на мгновение задержалась на лице, словно клоунский нос, а затем скатилась по щеке, оставляя мокрый след, и с жалобным дребезгом покатилась по полу в закат, под диван.

И в это самое мгновение, когда пивной водопад заливал его лицо, затекая за шиворот грязной футболки, а на переносице наливался будущий синяк, Паша услышал это. Звук, который ворвался в его унизительное, личное пространство откуда-то извне. С улицы, из-за распахнутых, пыльных окон, донесся странный, нарастающий свист.

Сначала он был едва различим на фоне звона в ушах и шипения пены. Но с каждой секундой он становился все громче, все пронзительнее, все неотвратимее. Этот звук пробивался сквозь вату похмелья, сквозь толщу депрессии и самоуничтожения, проникая в самые глубины его оглушенного сознания. Он был совершенно чужеродным, абсолютно не вписывающимся в привычную звуковую палитру их двора — ни криков детей, ни шума машин, ни лая собак. Он не был похож на свист закипающего чайника, который он забывал выключать много раз. Он не напоминал визг автомобильных тормозов, которые то и дело взвизгивали у соседнего перекрестка. И уж точно это был не звук ветра, который иногда, в редкие моменты, завывал в щелях вентиляционной шахты на кухне. Нет, этот звук был совершенно иного порядка. Он был плотным, почти материальным, словно сама ткань реальности натянулась и начала вибрировать, готовая вот-вот порваться. Казалось, он проникает сквозь стены, сквозь грязные стекла, сквозь самый воздух, минуя барабанные перепонки и резонируя прямо в костях черепа. В этом свисте слышалась угроза, неумолимо приближающаяся с огромной, немыслимой скоростью. Это был не просто звук приближающегося объекта — это был крик самого пространства, разрываемого чем-то чуждым и неумолимым. Он накладывался на его отвратительное, позорное положение, на пиво, капающее с ресниц, на пульсирующую боль в носу, создавая какую-то сюрреалистическую, апокалиптическую звуковую дорожку к его личному, маленькому падению.

Паша, все еще лежа в позе эмбриона, мокрый, жалкий и уничтоженный, пошевелил рукой и смахнул с лица остатки пены. Вытер ладонью лицо, размазывая липкую влагу по щекам и лбу. Он шумно выдохнул и, преодолевая боль в затекшей шее, повернул голову к окну, прислушиваясь. Свист все нарастал, переходя в какую-то ультразвуковую, почти невыносимую частоту.

В то же самое время, на семь вертикальных метров выше, в идеально чистой, почти стерильной кухне квартиры номер пятьдесят два, царила совершенно иная, диаметрально противоположная атмосфера. Здесь, за бетонными перекрытиями, которые служили не только физической, но и, казалось, метафизической границей, находился другой мир. Это был островок спокойствия, порядка и выверенной до миллиметра гармонии в бушующем море энтропии и хаоса, в который превратился старый панельный дом. Для Паши, лежащего в своей берлоге, квартира сверху была источником глухого, подсознательного раздражения — он чувствовал исходящие оттуда флюиды дисциплины и порядка, которые душили его своей правильностью. А жил в этой квартире Виктор Петрович, отставной военный, человек, превративший свой быт в уставной порядок, в свою личную маленькую армию, где он был и генералом, и рядовым.

Кухня сияла такой чистотой, что резало глаза. Ни единой пылинки на белоснежной кафельной плитке, выложенной в классическом шахматном порядке. Ни единого отпечатка пальцев на сверкающих хромированных ручках шкафчиков. Столешница из искусственного камня была пуста, если не считать идеально ровного строя баночек со специями, расставленных строго по алфавиту. В центре, на обеденном столе, покрытом белоснежной, накрахмаленной до хруста льняной скатертью без единой складочки, словно на пьедестале, стояли два предмета: старый, еще немецкий, фарфоровый заварочный чайник, расписанный вручную нежными анютиными глазками, и одинокая чайная пара — чашка на блюде, украшенная точно таким же рисунком. Виктор Петрович сидел на деревянном, жестком табурете с высокой спинкой, держа спину идеально прямо, словно на смотре строевой песни. Его плечи были расправлены, локти прижаты к бокам. На нем была простая полосатая пижама из мягкого египетского хлопка, но сидела она на нем как парадный мундир. Пижама была безупречно отутюжена, пуговицы застегнуты на все, а на груди, где у обычных людей бывает вышита монограмма, красовались аккуратные, три параллельные складочки, созданные утюгом. В его позе, в сухом, поджаром теле, в том, как он держал серебряную чайную ложку — не всей пятерней, а аккуратно, большим, указательным и средним пальцами, — чувствовалась та глубокая, врожденная выправка, которую не могли стереть годы гражданской жизни.

Он неторопливо, почти медитативно, помешивал чай. Чай был особым, на травах, собранных собственноручно прошлым летом в экологически чистом районе — чабрец, душица, немного зверобоя и для аромата — один бутон сушеного бергамота. Тонкая серебряная ложечка с вензелем ритмично, как метроном, позвякивала о тонкий фарфор. «Тик-так, тик-так», — разносилось в стерильной тишине кухни, создавая успокаивающий, почти гипнотический ритм. Аромат, поднимающийся из чашки, был сложным и благородным — смесь нагретого солнцем луга, пряной степной травы и легкой цитрусовой ноты. Этот аромат наполнял кухню, перебивая и вязкую жару, и запах разогретого бетона, просачивающийся сквозь стены. Это был его ежедневный, священный ритуал — послеобеденный час покоя, когда мир сжимался до размеров этой кухни, а время, казалось, замедляло свой бег, подчиняясь спокойному движению ложки в его сухой, сильной руке.

И в этот самый момент снизу, просачиваясь сквозь толщу бетонных перекрытий, как грунтовые воды сквозь породу, донесся грохот. Тяжелый, низкочастотный, вибрирующий ритм ударных и бас-гитары. Бамп-бамп-бамп. Казалось, что подвесной потолок кухни едва заметно завибрировал в такт. «Тяжелая музыка». Очередная, седьмая за неделю, порция шума из квартиры этого бездельника снизу. Музыка была настолько громкой, что Виктор Петрович, обладатель отличного слуха, мог разобрать не только ритм, который варварски ломал его собственное спокойное «тик-так», но и даже рисунок бас-бочки, молотящей где-то в аду этой музыки. Сквозь этот грохот пробивались и другие звуки: нечленораздельные, гортанные крики, больше похожие на животный рык смертельно раненого зверя. То ли это были так называемые «вокальные партии», то ли просто крики пьяного отчаяния, Виктор Петрович не знал, да и знать не хотел. Он брезгливо поджал свои тонкие, сухие губы, так что они превратились в одну прямую линию.

Он знал, что творится внизу. Знал в мельчайших деталях, даже не видя. Его аналитический ум легко восстанавливал картину по косвенным признакам — звукам, запахам из вентиляции, смене освещения в окнах. Знал эту запущенную берлогу, знал этого молодого человека, который неделю назад расстался с девушкой (он видел ее с чемоданом) и теперь, вместо того чтобы взять себя в руки, методично заливал свое горе дешевым спиртным, превращая свою жизнь и квартиру в отхожее место. Виктор Петрович, прошедший Афганистан, потерявший

друзей, видевший настоящие трагедии и проживший всю жизнь по строгому уставу, где любой внутренний «раздрай» должен быть задавлен железной дисциплиной и волей, искренне, до глубины души не понимал и презирал такое открытое, безвольное проявление слабости. Для него увольнение в запас было личной трагедией, крахом всей системы координат, но он не позволил себе скатиться. Он сжал зубы и перевел свою жизнь на новые, гражданские рельсы с той же военной четкостью. Каждое утро — подъем, зарядка, контрастный душ. Каждый день — список дел, покупок, звонков. Каждая суббота — генеральная уборка. И никаких «депрессий» и «поисков себя».

Его единственной войной сейчас была война с хаосом, и главным очагом сопротивления, постоянным источником нарушения его личного пространства, была квартира под номером сорок семь, прямо под ним. Квартира-анархия.

Игнорировать. Это был его тактический метод. Выработанный годами службы в условиях повышенного шума. Как на поле боя, когда вражеская артиллерия ведет беспокоящий огонь, не давая спать, лучшая стратегия — сохранять полное спокойствие, укрыться в своем окопе и продолжать выполнять поставленную боевую задачу. Его задача сейчас, в эту минуту, — выпить чай с чабрецом. Ровно семь глотков. Не быстро, не медленно. Он поднес чашку к губам, наслаждаясь тонким, невесомым паром, согревающим кожу. Грохот снизу усилился, сменившись какой-то особенно агрессивной, запыленной партией ударных. Виктор Петрович лишь чуть заметно поморщился, сделав первый, крошечный глоток. Терпкая жидкость обожгла язык. Этот грохот был для него фоном, как шум далекого водопада или лай бродячих собак во дворе. Раздражающим, но не имеющим к нему никакого касательства.

Внезапно, сквозь привычную, плотную стену шума снизу, пробился новый звук. Звук, на который его натренированное за десятилетия службы ухо, ухо разведчика, не могло не отреагировать. Это был свист. Пронзительный, нарастающий свист, доносящийся не из-под пола, а снаружи, с улицы, из открытого окна. Звук менял свою тональность, свой тембр, и в этом изменении слышалось стремительное, с огромным ускорением, приближение некоего объекта. Эффект Доплера в его самом угрожающем проявлении. Это не был звук садящегося самолета или пролетающего вертолета — их звук широкий, лопастной. Это было что-то другое, более компактное, более сжатое и невероятно быстрое. Что-то, что рассекало воздух, как раскаленный нож масло.

Его рука с чашкой замерла на полпути к губам. Чайная ложка, только что мерно отбивавшая ритм, застыла в воздухе. Виктор Петрович перестал помешивать чай. Его тонкие, с проседью, ноздри едва заметно дрогнули, втягивая воздух, словно он мог унюхать опасность. Мозг, привыкший мгновенно анализировать акустическую обстановку боя и отсеивать сотни лишних шумов, за тысячную долю секунды отбросил все бытовые, гражданские версии. Глаза, только что спокойные и отрешенные, прищурились, взгляд стал цепким, колючим и холодным, как сталь. Этот взгляд не гармонировал с уютной пижамой и чашкой чая. Это был взгляд человека, готового действовать. Он медленно, плавно повернул голову к открытому окну, за которым в горячем, дрожащем мареве раскаленного воздуха плавилась и искажались далекие, покрытые пылью верхушки тополей. Его рука сама собой опустила чашку на блюдце с тихим, точным стуком.

Нарастающий вой прорезал воздух, перекрыв на мгновение даже грохот «тяжелого металла» из квартиры снизу и пьяные крики. Звук достиг крещендо, заставив стекла в рамках едва заметно завибрировать.

Там, внизу, на диване, Паша, мокрый с головы до пят, жалкий и уничтоженный, только что смахнул с лица пустую банку и замер с открытым ртом, прислушиваясь к непонятному, ледящему душу свисту, приближающемуся с небес. А этажом выше, в своей идеально чистой, сияющей кухне, Виктор Петрович отставил недопитый чай с чабрецом, выпрямился во весь свой подтянутый рост и сделал шаг к окну. Его мягкие домашние тапочки ступали по кафелю совершенно бесшумно. Его пижама была безупречна, его спина — пряма, как штык. Два мира, две вселенные, разделенные всего лишь бетонной плитой перекрытия: мир абсолютного, зловонного упадка, депрессии и саморазрушения, и мир абсолютного, стерильного порядка, дисциплины и самоконтроля, — в одно и то же мгновение замерли, объединенные одним и тем же внезапным, животным предчувствием. Предчувствием того, что этот звук не сулит ничего хорошего, что он — предвестник катастрофы, и что их уединение, вонючее и стерильное, а вместе с ним и весь привычный, хоть и опостылевший уклад жизни, вот-вот будет грубо, нагло и бесповоротно нарушено вторжением чего-то извне. Чего-то, что летело прямо сюда, игнорируя законы логики, жары и привычного течения жизни.

Глава 2. Заклинательница одуванчиков

Если бы кто-нибудь из жильцов окрестных домов, изнывающих от жары в своих квартирах-духовках, выглянул в этот момент в окно, выходящее во внутренний двор за домом номер пятнадцать, он бы увидел зрелище, способное вызвать широкий спектр эмоций: от недоумения до легкой тревоги за психическое здоровье подрастающего поколения. Впрочем, смотреть в окна в такую жару было занятием бессмысленным и даже вредным — раскаленный воздух дрожал и плавился, искажая очертания предметов, так что и без того странная картина превратилась бы в совершеннейший сюрреализм.

А картина и правда была достойна кисти какого-нибудь сумасшедшего импрессиониста, решившего смешать в одном флаконе средневековый мистицизм, дешевый косплей и провинциальную дворовую тоску. В самом дальнем углу двора, там, где асфальтовая дорожка упиралась в старый, покосившийся деревянный забор, а культурные насаждения в виде чахлых кустов сирени переходили в откровенные дебри, заросшие лопухами, крапивой и каким-то неопознанным кустарником, напоминающим мелкую акацию, расположилась она. Девятнадцатилетняя Лиза, студентка второго курса филологического факультета, устроила здесь свой магический штаб.

Для своего уединения Лиза выбрала место, которое, по ее глубокому убеждению, обладало наибольшей концентрацией «дикой природной энергии» во всем микрорайоне. Это был небольшой пятачок земли, скрытый от посторонних глаз густыми зарослями той самой сирени, которая уже давно отцвела и теперь представляла собой просто скопище пыльных зеленых листьев, покрытых паутиной и мелкими насекомыми. Сквозь листву пробивались лучи послеполуденного солнца, рисуя на земле причудливые золотые узоры. Земля здесь была сухая, потрескавшаяся, усыпанная прошлогодними листьями, окурками (свидетельствами ночных посиделок местных подростков), пробками от пивных бутылок и прочим антропогенным мусором. Но Лиза всего этого не замечала. Она видела другое. Она видела «портал», «место силы», «точку соприкосновения миров». Потому что Лиза была не просто студенткой-филологом, обремененной хвостами по латыни и античной литературе. Лиза была — в своем собственном, глубоком и неколебимом убеждении — заклинательницей. Магом. Волшебницей. И пусть весь остальной мир, включая ее маму, преподавателей и бывшего парня, считал это глупостью и инфантилизмом, она-то знала правду. Она знала, что магия существует. Просто люди разучились ее видеть.

Именно поэтому ее наряд совершенно не походил на одежду нормального человека, решившего в жаркий полдень выйти во двор. На Лизе, поверх обычных джинсовых шорт и простой белой футболки, была надета мантия. Не купленная в магазине карнавальных костюмов, не взятая напрокат в театре, а самая настоящая, самодельная, сшитая вручную из старой, доставшейся от бабушки, тюлевой занавески. Занавеска была сливочно-кремового цвета, с вышитыми по краям не то лилиями, не то какими-то абстрактными цветочными мотивами, и теперь, превращенная в мантию, она свисала с плеч Лизы тяжелыми, негнувшимися складками, больше напоминая подвенечное платье, пострадавшее от пожара, чем одеяние могущественной чародейки. Лиза скрепила края занавески на груди большой английской булавкой, а на голову водрузила венок, сплетенный из одуванчиков, стеблей какой-то травы и, кажется, ромашек. Венок сползал на глаза, и ей то и дело приходилось поправлять его свободной рукой.

В правой руке она держала толстую тетрадь в кожаном переплете (купленную в книжном за триста рублей), раскрытую примерно на середине. Страницы тетради были исписаны аккуратным, бисерным почерком, с многочисленными пометками на полях, восклицательными знаками и рисунками пентаграмм. Это был ее личный гримуар. Книга заклинаний. Плод многомесячных изысканий, бессонных ночей и тщательного конспектирования всего, что только можно было найти по теме магии, колдовства и эзотерики — от «Молота ведьм» и работ Алистера Кроули до фанатских вики по «Зачарованным», «Баффи» и, конечно, ее любимому фэнтези-сериалу «Хроники Эридана», ради которого она, собственно, и начала учить латынь. Именно оттуда, из пятой серии третьего сезона, она и списала это заклинание. Великое заклинание левитации.

В левой руке, на раскрытой ладони, трепеща на слабом, почти неощутимом ветерке, лежала пушинка одуванчика. Обыкновенная, белая, воздушная, состоящая из сотен микроскопических парашютиков, готовая в любой момент оторваться и улететь в неизвестность. Но для Лизы это была не просто пушинка. Это был ключ. Катализатор. Объект, над которым она должна была установить полный и безоговорочный контроль. Заставить его замереть в воздухе. Зависнуть. Бросить вызов гравитации. Доказать самой себе, что она способна на большее. Что она не просто Лиза с филфака, у которой проблемы с зачетами и личной жизнью, а Элизабет из рода Эриданов, Верховная Хранительница Порталов. Ну, или, на худой конец, просто человек, который смог.

Она стояла в центре своего магического круга, который начертила прямо на земле мелом, украденным из университетской аудитории. Круг получился неровным, с волнистыми краями, потому что мел крошился, а земля была слишком бугристой. Но для магии, как она надеялась, точность линий не так уж важна. Главное — намерение. А намерения у нее было хоть отбавляй. Она закрыла глаза, глубоко вздохнула, стараясь отрешиться от всего мирского — от жары, от липкого пота, стекающего по спине под синтетической мантией, от комара, нудно звенящего над ухом. Она сосредоточилась. Представила, как потоки энергии, серебристые и прохладные, струятся из центра земли, проходят через ее ступни, поднимаются по позвоночнику и наполняют каждую клеточку ее тела. Она — проводник. Она — сосуд. Она — та, кто скажет слово, и мир подчинится.

Распахнув глаза, Лиза уставилась на пушинку одуванчика. Ее лицо приняло выражение предельной, абсолютной серьезности. Брови нахмурились, губы сжались в тонкую линию. Затем она раскрыла рот и, сверяясь с записями в тетради, начала произносить заклинание. Голос ее, сначала тихий и неуверенный, постепенно набирал силу, звуча все громче и отчетливее.

— *Spiritus aeris, audite vocem meam!* — продекламировала она, старательно выговаривая латинские слова так, как их произносила актриса в сериале. — *Ego sum ventus et pluma, Ego sum dominus gravitatis! Levitus... Levitus... Levitus parva sphaera!*

Что в переводе с латыни, в ее вольной, сериальной интерпретации, должно было означать нечто вроде: «Духи воздуха, внимайте моему гласу! Я есмь ветер и перо, Я есмь повелитель тяготения! Левитируй... Левитируй... Левитируй, малая сфера!» Настоящий латинист, вроде ее престарелого профессора Анатолия Борисовича, услышав это, вероятно, схватился бы за сердце. Но Лиза верила в магию, а не в академическую грамматику. Она повторяла заклинание снова и снова, повышая голос.

— *Levitus parva sphaera! Levitus! LEVITUS!*

В какой-то момент ей показалось, что пушинка на ее ладони действительно начала приподниматься. Сердце пропустило удар. Кровь прилила к щекам. Неужели? Неужели получается? Она затаила дыхание, боясь спугнуть момент. Сейчас. Сейчас произойдет чудо. Пушинка оторвется от ее руки и зависнет в воздухе, сияя в лучах солнца, как маленькая звезда. И тогда она поймет, что все было не зря. И мантия из занавески, и латынь, и эти бесконечные насмешки. Она заставит пушинку подняться. Она откроет портал. Она...

И в этот самый момент, когда напряжение достигло своего пика, когда сама ткань реальности, казалось, завибрировала в такт ее заклинанию, с детской площадки, расположенной метрах в тридцати от кустов сирени, за жиденькой полосой чахлах тополей, донесся звук. Звук, который был способен разрушить любую, даже самую совершенную магическую концентрацию. Истерический, пронзительный, захлебывающийся хохот.

Это был не просто смех. Это была какофония из визга, писка, улюлюканья и каких-то утробных повизгиваний. Стайка детей, возрастом от пяти до десяти лет, оккупировавшая песочницу и горки, устроила там, судя по всему, какую-то невероятно веселую и невероятно шумную игру. То ли они гонялись друг за другом, то ли кто-то кого-то облил водой из брызгалки, то ли просто радовались жизни с той беззаботной и оглушительной громкостью, на которую способны только маленькие дети. Их хохот, многократно усиленный естественной акустикой двора-колодца, пронесся над кустами сирени и врезался в Лизу, словно звуковая волна. Это был хохот, полный чистого, незамутненного счастья. И именно это делало его совершенно невыносимым.

Лиза вздрогнула, как от удара током. Заклинание замерло у нее на губах. Концентрация, которую она выстраивала с таким трудом, разлетелась в пыль, как та самая пушинка одуванчика, подхваченная резким порывом ветра. Пушинка на ее ладони даже не подумала левитировать. Вместо этого она просто подпрыгнула от дрогнувшей руки и, подхваченная самым обыкновенным, физическим дуновением, взмыла вверх и унеслась прочь, в сторону мусорных баков.

— Да чтоб вас! — в сердцах воскликнула Лиза, опуская руки и роняя тетрадь на землю. Венок окончательно съехал ей на левый глаз. Она выглядела не как Верховная Хранительница Порталов, а как человек, который проиграл битву с собственной занавеской. Мантия съехала с одного плеча, обнажив лямку футболки. Настроение, только что парившее где-то в эмпиреях, рухнуло в бездну.

Она с ненавистью посмотрела сквозь заросли сирени в сторону площадки. Дети, как ни в чем не бывало, продолжали свою вакханалию. Какой-то карапуз в красной панамке победно размахивал пластмассовым ведерком. Девочка с косичками визжала так, что, казалось, стекла в соседних домах должны лопнуть. Они веселились. Они были счастливы. И они разрушили все.

— Ничего вы не понимаете, — прошептала Лиза, подбирая с земли свой гримуар и отряхивая его от налипшей земли и сухой травы. — Абсолютно ничего. Вы даже не представляете, что сейчас могло бы произойти.

В этот момент из-за туч, на мгновение скрывших солнце, вырвался особенно яркий луч. Он упал прямо на то место, где стояла Лиза, осветив ее импровизированную мантию, рас-

трепанный веночек и злой, расстроенный профиль. Она была похожа на маленького, упрямого друида, потерпевшего сокрушительное поражение в битве с силами реальности в лице орущих детей. Но она не сдавалась. Еще не все потеряно. Есть другие заклинания. Другие места силы. Она снова откроет свой гримуар, найдет новое, еще более могущественное заклинание и попробует опять. Пусть даже для этого придется уйти в самый дальний конец парка, куда не долетает этот ужасный, пробирающий до костей, счастливый детский смех.

Она поджала губы, поправила веночек и снова раскрыла тетрадь. Где-то там, среди сотен заклинаний и рецептов зелий, обязательно должно было найтись то, что поможет ей прорваться сквозь пелену обыденности. То, что заставит весь этот скучный, душный, рациональный мир замолчать и подчиниться ее воле. И она его найдет. Чего бы ей это ни стоило. Даже если для этого придется выучить всю латынь до последнего исключения из правил склонения существительных. Магия требует жертв. И самой малой из них было ее собственное самолюбие.

Глава 3. Властелин окурка

Детская площадка во дворе дома номер пятнадцать, та самая, чей радостный гвалт разрушил магическую концентрацию Лизы, представляла собой классический образец советского и постсоветского благоустройства. Покосившийся деревянный кораблик с облупившейся синей краской, давно утративший не только штурвал, но и половину палубы. Железная горка, раскаленная солнцем до такой степени, что кататься с нее можно было только в огнеупорных штанах. Две качели на цепях, одна из которых при каждом движении издавала душераздирающий скрежет, способный перебудить весь дом. И песочница — эпицентр микромира, наполненная песком, который видел еще первых космонавтов и хранил в своих недрах богатую коллекцию окурков, фантиков, крышечек и прочих артефактов человеческой жизнедеятельности. Вокруг площадки, словно часовые на посту, стояли лавочки, оккупированные местными бабушками. Это был их наблюдательный пункт, их форум, их парламент и суд присяжных в одном флаконе. Бабушки сидели в тени жиденьких тополей, обмахиваясь газетами и платочками, и перемывали кости всем, кто имел неосторожность пройти мимо или, того хуже, задержаться на площадке.

Именно в этот раскаленный, сонный, пропитанный запахом пыли и старческих духов мирок и вторгся он. Глеб. Тридцатилетний мужчина неопределенного рода занятий, чье резюме, если бы оно существовало, представляло бы собой хаотичный список из коротких подработок, сомнительных авантур и периодов «творческого поиска себя», затянувшихся на годы. Сегодня он вышел во двор в своем парадном облачении: семейные трусы нежно-голубого цвета с выцветшим рисунком в виде якорей, и грязная, когда-то белая майка-алкоголичка, протертая на груди до полупрозрачного состояния. На ногах — шлепанцы, которые при каждом шаге издавали хлюпающий звук, потому что левый был надорван сбоку. Довершал картину его внешний вид: всклокоченные волосы, трехдневная щетина, красные, слегка безумные глаза, которые смотрели на мир с тем особым прищуром, который бывает либо у пророков, либо у людей, которым срочно нужна помощь психиатра. В руке он сжимал дешевую пластиковую зажигалку — почти пустую, но еще способную высекать искру.

Местные бабушки, до этого момента лениво обсуждавшие рост тарифов на коммунальные услуги и моральный облик соседки с третьего этажа, дружно замолчали и усталились на Глеба. Их лица, покрытые сеткой морщин, выражали сложную гамму чувств: от брезгливого любопытства до глубокой, почти философской усталости от созерцания человеческой глупости. Баба Зина, самая авторитетная и громкоголосая, многозначительно переглянулась с бабой Тамарой и покрутила корявым пальцем у виска. Жест был красноречивее любых слов. Баба Тамара кивнула в ответ, поджав губы. Они знали Глеба. Знали слишком хорошо. Квартира номер тридцать три на первом этаже была источником постоянных запахов табачного дыма, громкой музыки и странных личностей, шатающихся туда-сюда в любое время суток. Но то, что Глеб вытворял сейчас, превосходило все виденное ранее.

Потому что Глеб не просто вышел во двор. Он вышел с миссией. Он неспешно, но с какой-то странной, пьяной грацией, прошествовал через всю площадку, мимо кораблика, мимо качелей, прямо в центр песочницы. Дети, до этого момента оглашавшие двор своим смехом, инстинктивно расступились перед ним, как море перед Моисеем. Карапуз в красной панамке, тот самый, что размахивал ведерком, замер с открытым ртом. Девочка с косичками на всякий случай отошла за горку, выглядывая из-за нее с опасливым любопытством. В песочнице воца-

рилась тишина. Только где-то вдалеке все еще скрежетала та самая неисправная качеля, на которой забытый всеми малыш продолжал раскачиваться в блаженном неведении.

Глеб занял позицию в самом центре песочницы. Он расставил ноги на ширине плеч, отчего его семейные трусы угрожающе натянулись, вскинул голову к безжалостному, белесому от жары небу и вытянул правую руку вверх. В этой руке, словно скипетр, была зажата зажигалка. Поза его была настолько пафосной, настолько театральной, что даже самые маленькие зрители поняли: сейчас будет представление. Глеб набрал в легкие побольше воздуха, раздув ноздри и грудь, и заорал. Да так, что его, наверное, было слышно в соседнем квартале.

— СЛУШАЙТЕ МЕНЯ, ЖАЛКИЕ СМЕРТНЫЕ! — проревел он голосом, сорвавшимся на петушиный фальцет на последнем слове. — Я ЕСТЬ ИГНИС ПЕРВЫЙ! ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ! ПОВЕЛИТЕЛЬ ФОТОННОГО ПЛАМЕНИ! ВЛАСТЕЛИН КВАНТОВОГО ОГНЯ! Я ТОТ, КТО ПРИНЕСЕТ СВЕТ В ЭТУ УБОГУЮ ЮДОЛЬ СКОРБИ!

Бабушки на лавочках зашевелились, как потревоженный улей. Баба Зина, не веря своим ушам, приставила к уху сухонькую ладошку. Баба Тамара начала мелко креститься, что-то нашептывая себе под нос. Третья бабка, самая тихая, которую все звали просто «Петровна», достала из кармана флакончик с сердечными каплями и на всякий случай открутила крышечку. Глеб же, войдя в раж, продолжал свою пламенную речь. Слова лились из него потоком, бес-связным, но удивительно цветистым.

— Вы видите лишь тени на стене пещеры, жалкие обыватели! Но я! Я вижу ИСТИННЫЙ СВЕТ! Фотоны трепещут передо мной! Волны и частицы пляшут по моему велению! Я расщеплю реальность! Я подожгу небосвод! Я заставлю само Солнце поклониться мне, Игнису Первому! В моей руке — ключ к вратам Плеромы! И ключ этот — ОГОНЬ!

С этими словами он щелкнул зажигалкой. Раз. Ничего. Два. Снова ничего. Колесико прокрутилось вхолостую, высекая лишь жалкую, сиротливую искру, которая тут же погасла, не добравшись до газа. Баба Зина, наблюдавшая за этим с прищуром снайпера, хмыкнула. В ее хмыканье слышалось торжество скепсиса. Глеб, впрочем, ничуть не смутился. Он встряхнул зажигалку, прищурил один глаз, словно прицеливаясь, и попытался снова.

— Сейчас, сейчас, подождите, — пробормотал он уже менее пафосно, себе под нос. — Газу мало... Но для Игниса Первого это не помеха!

Наконец, после пятого или шестого щелчка, зажигалка сдалась. Из нее вырвался крошечный, колеблющийся на ветру язычок пламени. Глеб издал торжествующий вопль, больше похожий на крик раненого павлина. Он поднял зажигалку над головой, словно олимпийский факел, и начал медленно вращать ею, очерчивая в воздухе огненные круги. Пламя, впрочем, от этого вращения тут же погасло, но Глеба это уже не волновало. Он перешел в финальную, самую драматическую стадию своего выступления. Он занес руку назад, словно собираясь метнуть копье в самое небо, и заорал так, что у бабы Тамары слетела с головы панамка.

— ЗРИТЕ ЖЕ! ОГНЕННЫЙ ШАР! ШАР ВЕЛИКОЙ ВЕЧНОЙ ТЬМЫ И СВЕТА! Я ПОВЕЛЕВАЮ ФОТОНАМИ! ИГНИС! ИГНИС ПРИМУС! ФАЙЕРБОЛ!

И с этим воплем он сделал резкое, размашистое движение рукой, словно действительно швырнул что-то огромное, тяжелое и пылающее прямо в белесый небосвод. В то же мгновение

его рот исторг звук, который должен был, по его замыслу, изображать звук взрыва. Это было сочное, утробное «ПШШШ-БА-БАХ!», в которое он вложил всю свою артистическую душу. Для убедительности он даже подпрыгнул на месте и чуть не потерял одну тапку.

Бабушки замерли. Дети замерли. Даже скрежет качелей, казалось, на секунду стих. Все смотрели на Глеба, который стоял в позе метателя ядра, тяжело дыша и утирая пот со лба грязной майкой. В песочнице повисла звенящая тишина. Абсолютная. Вселенская.

А потом небеса разорвал ослепительный, настоящий свет.

Это не было метафорой. Это не было игрой воображения или оптической иллюзией, порожденной жарой и переутомлением. С неба, с той самой точки, куда только что целился своей воображаемой огненной бомбой Глеб, ударил столп ярчайшего, нестерпимо белого сияния. Свет был настолько интенсивным, что на долю секунды все вокруг — дома, деревья, песочница, бабушки, дети, сам Глеб — превратилось в черно-белый негатив, в плоские, лишённые объема тени. Небо, которое секунду назад было равномерно-белесым от смога и жары, прочертила ослепительная, пульсирующая полоса. Этот свет пронзил пространство сверху вниз, расколов реальность на «до» и «после».

И вместе со светом пришел звук. Тот самый свист, который уже слышали Паша в своей зловонной берлоге и Виктор Петрович на своей стерильной кухне, здесь, во дворе, достиг своего апогея. Свист перерос в рев. Это был низкий, вибрирующий, утробный гул, который, казалось, шел не из одной точки, а отовсюду сразу. Он давил на барабанные перепонки, заставлял вибрировать оконные стекла во всем доме, отдавался дрожью в позвоночнике. Это был рев падающей звезды, рев рассекаемого атмосферного слоя, рев самой разгневанной физики.

Глеб, все еще стоящий с вытянутой рукой, в которой была зажата бесполезная теперь зажигалка, медленно, очень медленно опустился на колени прямо в песок. Его глаза, и без того безумные, теперь расширились до размера блюдца, отражая в себе этот божественный, апокалиптический свет. Рот его открылся, но из него не вырвалось ни звука. Семейные трусы с якорями окончательно потеряли свою эластичность и теперь сползали, но он этого даже не замечал. Он смотрел в небо, которое только что исполнило его безумную просьбу. Он попросил огонь. И небеса ответили ему огнем. Он заказал фajerбол. И фajerбол был доставлен. Прямой экспресс-доставкой откуда-то из-за пределов атмосферы.

Баба Зина перестала крутить пальцем у виска. Ее палец так и застыл в воздухе, как сухая ветка. Она смотрела вверх, и ее морщинистое лицо, впервые за долгие годы, выражало полное и безоговорочное поражение ее скептицизма. Баба Тамара, та, что крестилась, теперь просто застыла с открытым ртом, из которого выпала вставная челюсть и шлепнулась прямо в пыльную траву, но она даже не заметила этого. Петровна опрокинула флакончик с каплями себе на юбку.

А Глеб все стоял на коленях в песочнице, освещенный этим нереальным, инопланетным светом, и по его грязной, небритой щеке катилась одинокая слеза. Слезка человека, который бросил вызов реальности. И реальность приняла его вызов.

Глава 4. Мгновение «Омега»

Время — странная субстанция. Физики скажут вам, что это четвертое измерение, неумолимая река, текущая из прошлого в будущее с постоянной скоростью. Психологи добавят, что восприятие времени субъективно и зависит от множества факторов: возраста, эмоционального состояния, количества выпитого накануне пива. Но ни те, ни другие никогда не переживали того, что пережили в этот июльский полдень четверо жителей обычного панельного микрорайона на окраине города. Потому что для них время не просто замедлилось. Оно замерло. Остановилось. Превратилось в одно бесконечное, растянутое до размеров вечности мгновение. Мгновение, в котором уместилось все: ужас, восторг, узнавание, отчаяние, надежда и полное, абсолютное принятие неизбежного. Секунда до удара. Секунда, которая вместила в себя целую жизнь.

Первым, кто ощутил это странное зависание реальности, был Паша. Все еще лежащий на своем продавленном диване, мокрый от пива, с наливающимся синяком на переносице и звоним в ушах, он вдруг почувствовал, как что-то изменилось. Свист, только что бывший пронзительным и нарастающим, вдруг стал... другим. Он не исчез, нет. Он словно бы растянулся, потерял свою направленность, превратился в монотонный, всепроникающий гул, который вибрировал в каждой клетке его тела. И вместе с этим гулом пришло ощущение невесомости. Не физической, а какой-то экзистенциальной. Словно весь мир — грязная комната, пустые банки, пыль в солнечном свете, запах прокисшего пива — все это стало декорацией, картонной бутафорией, которая вот-вот рухнет.

Страх — удивительный стимулятор. Он способен вытащить человека из любой, даже самой глубокой депрессивной ямы. В одно мгновение Паша осознал, что лежать на диване больше нельзя. Что грядущее, что бы это ни было, требует вертикального положения. Он скатился с дивана. Это было не грациозное движение — скорее, судорожный, неуклюжий перекат, в результате которого он оказался на четвереньках на грязном полу, среди пустых банок и окурков. Но он встал. Поднялся на ноги, пошатываясь, цепляясь за подлокотник дивана, чувствуя, как дрожат колени и как тяжело, с перебоями, бьется сердце. Он сделал шаг к окну. Еще один. Голова кружилась, перед глазамиплыли цветные пятна, но он шел, ведомый каким-то древним, пещерным инстинктом: смотреть в лицо опасности. Не прятаться под одеялом. Не зажимиваться. Смотреть.

Он добрел до подоконника и вцепился в него обеими руками, чувствуя под пальцами шершавую, облупившуюся краску и слой жирной пыли. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от грязного стекла, за которым плавился в жаре привычный, скучный двор. И в этот момент небо разорвала ослепительная вспышка. Свет, который он увидел, не был похож ни на что виденное ранее. Он не был просто ярким. Он был... абсолютным. Всеобъемлющим. Стерилизующим. Он не просто осветил двор, дома, машины и деревья. Он выбелил их, лишил цвета, объема, тени. Мир за окном на долю секунды превратился в двумерную черно-белую фотографию, передержанную до такой степени, что детали исчезли, остались только контуры. Свет заполнил собой все пространство, проник сквозь грязное стекло, и Паша увидел собственное отражение — бледное, искаженное, с расширенными от ужаса глазами и темной полосой синяка на переносице. Он увидел себя со стороны. Увидел того, кем он стал за эти семь дней. Жалкого, грязного, сломленного человека, который только что получил по носу банкой пива. И в этот момент он понял: что бы ни летело с неба, это изменит все. И, возможно, это к луч-

шему. Потому что хуже, чем есть сейчас, уже быть не может. Эта мысль, простая и ясная, как вспышка молнии, пронзила его мозг. Он не закрыл глаза. Он продолжал смотреть.

Этажом выше, на своей стерильной, сверкающей чистотой кухне, Виктор Петрович переживал тот же самый момент, но совершенно иначе. Для него время не просто замедлилось — оно выстроилось в идеально ровную шеренгу, как солдаты на плацу. Свист, доносившийся с улицы, перешел в низкий, вибрирующий гул, от которого мелко задребезжала фарфоровая чашка на блюде. Виктор Петрович, уже стоявший у окна, выпрямив спину и расправив плечи, почувствовал это колебание не только ушами, но и всем телом. Это было знакомое чувство. Далекое, полузабытое, но никуда не девшееся из мышечной памяти. Так дрожит земля перед артобстрелом. Так гудит воздух перед прилетом.

Он увидел свет. Яркий, ослепительный, заливший все пространство за окном. Но, в отличие от Паши, Виктор Петрович не замер в оцепенении. Его мозг, десятилетиями тренированный для действий в экстремальных ситуациях, работал с четкостью швейцарского хронометра. Он мгновенно оценил яркость вспышки, направление источника, скорость приближения объекта и потенциальный радиус поражения. Вывод был однозначным: это не самолет, не ракета класса «земля-воздух» и не метеозонд. Это что-то иное. Что-то, с чем он еще не сталкивался. Но паниковать было некогда и незачем. Паника — удел гражданских. Удел слабых. Его удел — порядок.

Он аккуратно, без единого лишнего движения, поставил чашку с недопитым чаем на блюдо. Раздался тихий, мелодичный звон — фарфор коснулся фарфора. Этот звук был настолько обыденным, настолько спокойным, что составлял разительный контраст с нарастающим ревом с улицы. Чайная ложка, лежащая на блюде, была идеально параллельна ручке чашки. Виктор Петрович поправил ее на какую-то долю миллиметра, добиваясь абсолютного совершенства. Затем он выпрямился во весь рост, одернул безупречно отутюженную полосатую пижаму, поправил воротник и, глядя в окно, в бушующий там океан света, спокойно и отчетливо произнес:

— Ну наконец-то.

В этих двух словах, сказанных негромко, но с какой-то странной, усталой удовлетворенностью, было заключено все. Вся его жизнь. Вся его служба. Все годы ожидания чего-то, что нарушит этот бесконечный, скучный, гражданский порядок вещей. Чего-то настоящего. Чего-то, что поставит все на свои места. Он ждал этого звонка, этого сигнала тревоги, этого свиста с небес уже много лет. Он был готов. Он был готов всегда.

В соседнем дворе, в зарослях сирени, где еще витал в воздухе запах мела и раздавленной травы, Лиза переживала мгновение «Омега» совсем иначе. Ее концентрация, только что разрушенная детским смехом, так и не восстановилась. Она стояла, все еще в своей дурацкой мантии из занавески, с венком, сползшим на одно ухо, и с тетрадью в руке, и смотрела на пушинку одуванчика. На ту самую пушинку, которую она только что пыталась заставить левитировать, но которая вместо этого взмыла в воздух, подхваченная обычным ветерком. И в этот момент мир вокруг нее начал меняться.

Сначала пришел звук. Тот самый свист, который она слышала и раньше, но не придавала ему значения, списывая на шум машин или самолет. Теперь он превратился в рев, в низкий, вибрирующий гул, от которого задрожали листья сирени и мелко затряслась земля под ногами. А потом пришел свет. Ослепительный, белый, всепоглощающий. Он залил ее магический круг, ее меловые линии, ее тетрадь с заклинаниями, ее саму. И в этом свете Лиза увидела то, что заставило ее сердце замереть на полпути к следующему удару.

Пушинка одуванчика, та самая, которая только что безвольно порхала в воздухе, подхваченная ветром, вдруг... исчезла. Нет, она не улетела. Она не опустилась на землю. Она просто испарилась. Прямо в воздухе, в луче этого невероятного, инопланетного света, белый парашютик одуванчика превратился в ничто. В легкий, едва заметный дымок, который тут же рассеялся. Это было не горение. Это было нечто иное. Аннигиляция. Превращение материи в энергию. Исчезновение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.